

Л53

- ТФ

15

Цена 75 коп.

НАРОДНАЯ  
БИБЛИОТЕКА

№

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

ПОСЛЕ БАЛА.  
ДВЕ ИСТОРИИ УЛЬЯ  
С ЛУБОЧНОЙ КРЫШКОЙ.



ЛИТЕРАТУРНО - ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ  
НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ПО ПРОСВЕЩЕНИЮ

Москва — 1919

~~1920~~  
1921

1/4 +



Все сочинения Льва Толстого монополизированы Российской Советской Федеративной Республикой на пять лет, по 31 декабря 1922 года.

Никем из книгопродавцев указанная на книге цена не может быть повышена под страхом ответственности пред законом страны.

Заведующий Лит.-Изд. Отд. Нар. Ком. Просв.

*П. И. Лебедев-Полянский.*

БР - 1тФ

РР  
Т53

## После бала.

— Вот вы говорите, что человек не может сам по себе понять, что хорошо, что дурно, что все дело в среде, что среда заедает. А я думаю, что все дело в случае. Я вот про себя скажу...

Так заговорил всеми уважаемый Иван Васильевич после разговора, шедшего между нами, о том, что для личного совершенствования необходимо прежде изменить условия, среди которых живут люди. Никто, собственно, не говорил, что нельзя самому понять, что хорошо, что дурно, но у Ивана Васильевича была такая манера отвечать на свои собственные, возникающие вследствие разговора мысли и по случаю этих мыслей рассказывать эпизоды из своей жизни. Часто он совершенно забывал повод, по которому он рассказывал, увлекаясь рассказом, тем более, что рассказывал он очень искренно и правдиво.

МУК «Тульская  
библиотечная система»

Так он сделал и теперь.

— Я про себя скажу. Вся моя жизнь сложилась так, а не иначе не от среды, а совсем от другого.

— От чего же?—спросили мы.

— Да это—длинная история. Чтобы понять надо много рассказывать.

— Вот вы и расскажите.

Иван Васильевич задумался, покачал головой.

— Да,—сказал он.—Вся жизнь переменилась от одной ночи или, скорее, утра.

— Да что же было?

— А было то, что был я сильно влюблен. Влюблялся я много раз, но это была самая моя сильная любовь. Дело прошлое; у нее уже дочери замужем. Это была Б..., да, Варенька Б...—Иван Васильевич назвал фамилию.—Она и в пятьдесят лет была замечательная красавица, но в молодости, восемнадцати лет, была прелестна: высокая, стройная, грациозная и величественная, именно величественная, держалась она всегда необыкновенно прямо, как будто не могла иначе, откинув немного назад голову, и это давало ей, с ее красотой и высоким ростом,

несмотря на ее худобу и даже костлявость, какой-то царственный вид, который отпугивал бы от нее, если бы не ласковая, всегда веселая улыбка и рта, и прелестных, блестящих глаз, и всего ее милого, молодого существа.

— Каково Иван Васильевич расписывает!

— Да как ни расписывай, расписать нельзя так, чтобы вы поняли, какая она была. Но не в том дело. То, что я хочу рассказать, было в сороковых годах. Был я в то время студентом в провинциальном университете. Не знаю, хорошо ли это, или дурно, но не было у нас в то время в нашем университете никаких кружков, никаких теорий, а были мы просто молоды и жили, как свойственно молодости: учились и веселились. Был я очень веселый и бойкий малый, да еще и богатый. Был у меня иноходец лихой, катался я с гор с барышнями (коньки еще не были в моде), кутил с товарищами (в то время мы ничего, кроме шампанского, не пили; не было денег, — ничего не пили, а не пили, как теперь, водку). Главное же мое удовольствие составляли вечера и балы. Танцевал я хорошо и был не безобразен.

— Ну, нечего скромничать,—перебила его одна из собеседниц.—Мы ведь знаем ваш еще дагерротипный портрет. Не то, что не безобразен, а вы были красавец.

— Красавец, так красавец, да не в этом дело. А дело в том, что во время моей этой самой сильной любви к ней был я в последний день масленицы на бале у губернского предводителя, добродушного старичка, богача, хлебосола и камергера. Принимала такая же добродушная, как и он, жена его в бархатном пюсовом платье, в брильянтовой фероньерке на голове и с открытыми старыми, пухлыми, белыми плечами и грудью, как портреты Елизаветы Петровны. Бал был чудесный. Зала прекрасная, с хорами, музыканты—знаменитые в то время крепостные помещика - любителя, буфет великолепный и разливанное море шампанского. Хоть я и охотник был до шампанского, но не пил потому, что без вина был пьян любовью, но зато танцевал до упаду и вальсы и польки, разумеется, насколько возможно было, все с Варенькой. Она была в белом платье с розовым поясом и в белых лайковых перчатках, немного не доходивших до худых, острых локтей, и в

белых атласных башмачках. Мазурку отбил у меня противный инженер Анисимов,—я до сих пор не могу простить ему это,—он пригласил ее, только что она вошла, а я заезжал к парикмахеру за перчатками и опоздал. Так что мазурку я танцевал не с нею, а с одной немочкой, за которой я немножко ухаживал прежде, но, боюсь, в этот вечер был очень неучтив с нею, не говорил с нею, не смотрел на нее, а видел только высокую стройную фигуру в белом платье с розовым поясом и ее сияющее, зарумянившееся с ямочками лицо и ласковые, милые глаза. Не я один,—все смотрели на нее и любовались ею, любовались и мужчины, и женщины, несмотря на то, что она затмила их всех. Нельзя было не любоваться.

По закону, так сказать, мазурку я танцевал не с нею, но в действительности танцевал я почти все время с ней. Она не смущаясь, через всю залу шла прямо ко мне, и я вскакивал, не дожидаясь приглашения, и она улыбкой благодарила меня за мою догадливость. Когда нас подводили к ней, и она не угадывала моего качества, она, подавая руку не мне, пожимала худыми плечами и в знак сожаления и утешения улыбалась мне.

Когда делали фигуры мазурки вальсом, я подолгу вальсировал с нею, и она, часто дыша, улыбаясь, говорила мне по-французски: «еще!», и я вальсировал еще и еще и не чувствовал своего тела.

— Ну, как же не чувствовали, когда обнимали за талию, не только свое, но и ее тело чувствовали, я думаю,—сказал один из гостей.

Иван Васильевич вдруг покраснел и сердито закричал почти:

— Да, вот это—вы, нынешняя молодежь. Вы, кроме тела, ничего не видите. В наше время было не так. Чем сильнее я был влюблен, тем бестелеснее становилась для меня она. Вы теперь видите ноги, щиколотки и еще что-то, вы раздеваете женщин, в которых влюблены, для меня же, как говорил Альфонс Карр,—хороший был писатель,—на предмете моей любви были всегда бронзовые одежды. Мы не то что раздевали, а старались прикрыть наготу, как добрый сын Ноя. Ну, да вы не поймете.

— Не слушайте его. Дальше что?—сказал один из нас.

— Да, так вот танцевал я больше с нею и не видал, как прошло время. Музыканты

уже с каким-то отчаянием усталости,—знаете, как бывает в конце бала,—подхватывали все тот же мотив мазурки, из гостиных поднялись уже из-за карточных столов папаша и мамаша, ожидая ужина, лакеи чаще забегали, пронося что-то. Был третий час. Надо было пользоваться последними минутами. Я еще раз выбрал ее, и мы в сотый раз прошли вдоль залы.

— Так после ужина кадрили моя,—сказал я ей, отводя ее к ее месту.

— Разумеется, если меня не увезут,—сказала она, улыбаясь.

— Я не дам,—сказал я.

— Дайте же веер,—сказала она.

— Жалко отдавать,—сказал я, подавая ей белый дешевенький веер.

— Так вот вам, чтобы вы не жалели,—сказала она, оторвала перышко от веера и подала мне.

— Я взял перышко и только взглядом мог выразить весь свой восторг и благодарность. Я был не только весел и доволен,—я был счастлив, блажен, я был добр, я был не я, а какое-то неземное существо, не знающее зла и способное на одно добро. Я спрятал перышко в перчатку и стоял, не в силах отойти от нее.

— Смотрите, папа просят танцевать, — сказала она мне, указывая на высокую, статную фигуру ее отца - полковника, с серебряными эполетами, стоявшего в дверях с другими дамами.

— Варенька, подите сюда, — услышали мы громкий голос хозяйки в брильянтовой френьерке и с елизаветинскими плечами!

Варенька подошла к двери, и я за ней.

— Уговорите же, *ma chère*, отца пройтись с вами. Ну, пожалуйста, Петр Владиславович, — обратилась хозяйка к полковнику.

Отец Вареньки был очень красивый, статный, высокий и свежий старик. Лицо у него было очень румяное, с белыми подвитыми, как у Николая I, усами, белыми же подведенными к усам бакенбардами и с зачесанными вперед височками, и та же радостная улыбка, как и у дочери, была в его блестящих глазах и губах. Сложен он был прекрасно, с широкой, небогато украшенной орденами, выпячивающейся по военному грудью, с сильными плечами и длинными, стройными ногами. Он был воинский начальник типа старого служаки николаевской выправки.

Когда мы подошли к дверям, полковник отказывался, говоря, что он разучился танцевать, но все-таки, улыбаясь, закинув на левую сторону руку, вынул шпагу из портупеи, отдал ее услужливому молодому человеку и, натянув замшевую перчатку на правую руку, — «надо все по закону», — улыбаясь сказал он, — взял руку дочери и стал в четверть оборота, выжидая такт.

Дождавшись начала мазурочного мотива, он бойко топнул одной ногой, выкинул другую, и высокая грузная фигура его то тихо и плавно, то шумно и бурно, с топотом подошв и ноги об ногу, задвигалась вокруг залы. Грациозная фигура Вареньки плыла около него, незаметно, во-время укорачивая или удлиняя шаги своих маленьких, белых, атласных ножек. Вся зала следила за каждым движением пары. Я же не только любовался, но с восторженным умилением смотрел на них. Особенно умилили меня его сапоги, обтянутые штрипками — хорошие опойковые сапоги, но не модные — с острыми, а старинные — с четвероугольными носками и без каблуков, — очевидно, сапоги были построены батальонным сапожником. «Чтобы вывозить и одевать любимую дочь, он не покупает модных

сапог, а носит домодельные», думал я, и эти четвероугольные носки сапог особенно умиляли меня. Видно было, что он когда-то танцевал прекрасно, но теперь был грузен, и ноги уже не были достаточно упруги для всех тех красивых и быстрых па, которые он старался выде- лывать. Но он все-таки ловко прошел два круга. Когда же он, быстро расставив ноги, опять со- единил их и, хотя и несколько тяжело, упал на одно колено, а она, улыбаясь и поправляя юбку, которую он зацепил, плавно прошла вокруг него, все громко зааплодировали. С некоторым усилием приподнявшись, он нежно, мило обхватил дочь руками за уши и, поцело- вав в лоб, подвел ее ко мне, думая, что я тан- цую с ней. Я сказал, что не я ее кавалер.

— Ну, все равно, пройдитеесь теперь вы с нею,—сказал он, ласково улыбаясь и вдевая шпагу в портупею.

Как бывает, что вслед за одной вылившейся из бутылки каплей содержимое ее выливается большими струями, так и в моей душе любовь к Вареньке освободила всю скрытую в моей душе способность любви. Я обнимал в то время весь мир своей любовью. Я любил и хозяйку

в фероньерке с ее елизаветинским бюстом, и ее мужа, и ее гостей, и ее лакеев, и даже дувшегося на меня инженера Анисимова. К отцу же ее, с его домашними сапогами и ласковой, похожей на нее улыбкой, я испытывал в то время какое-то восторженное, нежное чувство.

Мазурка кончилась, хозяева просили гостей к ужину, но полковник Б. отказался, сказав, что ему надо завтра рано вставать, и простился с хозяевами. Я было испугался, что и ее увезут, но она осталась с матерью.

После ужина я танцевал с нею обещанную кадрили, и, несмотря на то, что я был, казалось, бесконечно счастлив, счастье мое все росло и росло. Мы ничего не говорили о любви; я не спрашивал ни ее, ни себя даже о том, любят ли она меня. Мне достаточно было того, что я любил ее. И я боялся только одного, чтобы что-нибудь не испортило моего счастья.

Когда я приехал домой, разделся и подумал о сне, я увидал, что это совершенно невозможно. У меня в руке было перышко от ее веера и целая ее перчатка, которую она дала мне, уезжая, когда садилась в карету и я подсаживал ее мать и потом ее. Я смотрел на эти вещи

и, не закрывая глаз, видел ее перед собой то в ту минуту, когда она, выбирая из двух кавалеров, угадывает мое качество, и слышу ее милый голос, когда она говорит: «Гордость, да?» и радостно подает мне руку, или когда за ужином пригубливает бокал шампанского и исподлобья глядит на меня ласкающими глазами. Но больше всего я вижу ее в паре с отцом, когда она плавно двигается около него и с гордостью и радостью и за себя и за него взглядывает на любующихся зрителей, и я невольно соединяю его и ее в одном нежном, умиленном чувстве.

Жили мы тогда одни с покойным братом. Брат и вообще не любил света и не ездил на балы, теперь же готовился к кандидатскому экзамену и вел самую правильную жизнь. Он спал. Я посмотрел на его уткнутую в подушку и закрытую до половины фланелевым одеялом голову, и мне стало любовно жалко его, жалко за то, что он не знал и не разделял того счастья, которое я испытывал. Крепостной наш лакей Петруша встретил меня со свечой и хотел помочь мне раздеваться, но я отпустил его. Вид его заспанного лица со спутанными волосами показался мне умилительно трогательным. Ста-

раясь не шуметь, я на цыпочках прошел в свою комнату и сел на постель. Нет, я был слишком счастлив, я не мог спать. Притом мне жарко было в натопленных комнатах, и я, не снимая мундира, потихоньку вышел в переднюю, надел шинель, отворил наружную дверь и вышел на улицу.

С бала я уехал в пятом часу; пока доехал домой, посидел дома, прошло еще часа два, так что, когда я вышел, уже было светло. Была самая масленичная погода: был туман; насыщенный водою снег таял на дорогах, и со всех крыш капало. Жили Б. тогда на конце города подле большого поля, на одном конце которого было гулянье, а на другом—девический институт. Я прошел наш пустынный переулочек и вышел на большую улицу, где стали встречаться и пешеходы и ломовые с дровами на санях, достававших полозьями до мостовой. И лошади, равномерно покачивающие под глянцево-витыми дугами мокрыми головами, и покрытые рогожками извозчики, шлепающие в огромных сапогах подле возов, и дома улицы, казавшиеся в тумане очень высокими,—все было мне особенно мило и значительно.

Когда я вышел на поле, где был их дом, я увидал в конце его, по направлению гулянья, что-то большое, черное и услышал доносившиеся оттуда звуки флейты и барабана. В душе у меня все время пело, и изредка слышался мотив мазурки. Но это была какая-то другая, жесткая, нехорошая музыка.

«Что это такое?» подумал я и по проезженной посередине поля, скользкой дороге пошел по направлению звуков. Пройдя шагов сто, я из-за тумана стал различать много черных людей. Очевидно,—солдаты. «Верно, ученье», подумал я и вместе с кузнецом в засаленном полушубке и фартуке, несшим что-то и шедшим передо мною, подошел ближе. Солдаты в черных мундирах стояли двумя рядами друг против друга, держа ружья к ноге, и не двигались. Позади их стояли барабанщики и флейтщик и не переставая повторяли все ту же неприятную, визгливую мелодию.

— Что это они делают?—спросил я у кузнеца, остановившегося рядом со мной.

— Татарина гоняют за побег,—сердито сказал кузнец, взглядывая в дальний конец рядов.

2664

Я стал смотреть туда же и увидал посреди рядов что-то страшное, приближающееся ко мне. Приближающееся ко мне был оголенный по пояс человек, привязанный к ружьям двух солдат, которые вели его. Рядом с ним шел высокий военный в шинели и фуражке, фигура которого показалась мне знакомой. Дергаясь всем телом, шлепая ногами по талому снегу, наказываемый, под сыпавшимися с обеих сторон на него ударами, подвигался ко мне, то опрокидываясь назад,—и тогда унтер-офицеры, ведшие его за ружья, толкали его вперед, то падая наперед,—и тогда унтер-офицеры, удерживая его от падения, тянули его назад. И, не отставая от него, шел твердой, подрагивающей походкой высокий военный. Это был ее отец, со своим румяным лицом и белыми усами и бакенбардами.

При каждом ударе наказываемый, как бы удивляясь, поворачивал сморщенное от страдания лицо в ту сторону, с которой падал удар, и, оскаливая белые зубы, повторял какие-то одни и те же слова. Только, когда он был совсем близко, я расслышал эти слова. Он не говорил, а всхлипывал: «Братцы, помилосерд-

ствуйте. Братцы, помилосердствуйте». Но братцы не милосердствовали, и, когда шествие совсем поровнялось со мною, я видел, как стоявший против меня солдат решительно выступил шаг вперед и, со свистом взмахнув палкой, сильно шлепнул ею по спине татарина. Татарин дернулся вперед, но унтер-офицеры удержали его, и такой же удар упал на него с другой стороны, и опять с этой, и опять с той... Полковник шел подле и, поглядывая то себе под ноги, то на наказываемого, втягивал в себя воздух, раздувая щеки, и медленно выпускал его через оттопыренную губу. Когда шествие миновало то место, где я стоял, я мельком увидал между рядов спину наказываемого. Это было что то такое пестрое, мокрое, красное, неестественное, что я не поверил, чтобы это было тело человека.

— О, Господи!—проговорил подле меня кузнец.

Шествие стало удаляться. Все так же падали с двух сторон удары на спотыкающегося, корчившегося человека, и все так же били барабаны и свистела флейта, и все так же твердым шагом двигалась высокая, статная фигура полковника рядом с наказываемым. Вдруг полков-

ник остановился и быстро приблизился к одному из солдат.

— Я тебе помажу,—услыхал я его гневный голос.—Будешь мазать? Будешь?

И я видел, как он своей сильной рукой в замшевой перчатке бил по лицу испуганного малорослого, слабосильного солдата за то, что он недостаточно сильно опустил свою палку на красную спину татарина.

— Подать свежих шпицрутенов!—крикнул он, оглядываясь, и увидал меня. Делая вид, что он не знает меня, он, грозно и злобно нахмурившись, поспешно отвернулся. Мне было до такой степени стыдно, что, не зная, куда смотреть, как будто я был уличен в самом постыдном поступке, я опустил глаза и поторопился уйти домой. Всю дорогу в ушах у меня то била барабанная дробь и свистела флейта, то слышались слова: «Братцы, помилосердствуйте», то я слышал самоуверенный, гневный голос полковника, кричащего: «Будешь мазать? Будешь?» А между тем на сердце была почти физическая, доходившая до тошноты тоска, такая, что я несколько раз останавливался, и мне казалось, что вот-вот меня вырвет всем

тем ужасом, который вошел в меня от этого зрелища. Не помню, как я добрался домой и лег. Но только стал засыпать, услышал и увидел опять все и вскочил.

«Очевидно, он что-то знает такое, чего я не знаю,—думал я про полковника.—Если бы я знал то, что он знает, я бы понимал и то, что я видел, и это не мучило бы меня». Но, сколько я ни думал, я не мог понять того, что знает полковник, и заснул только к вечеру, и то после того, как пошел к приятелю и нанился с ним совсем пьян.

Что же, вы думаете, что я тогда решил, что то, что я видел, было дурное дело? Ничуть. «Если это делалось с такой уверенностью и признавалось всеми необходимым, то, стало быть, они знали что-то такое, чего я не знал», думал я и старался узнать это. Но сколько ни старался—и потом не мог узнать этого. А не узнав, не мог поступить в военную службу, как хотел прежде, и не только не служил в военной, но нигде не служил и никуда, как видите, не годился.

— Ну, это мы знаем, как вы никуда не годились,—сказал один из нас.—Скажите луч-

ше: сколько бы людей никуда не годились, кабы вас не было.

— Ну, это уж совсем глупости, — с искренней досадой сказал Иван Васильевич.

— Ну, а любовь что? — спросили мы.

— Любовь? Любовь с этого дня пошла на убыль. Когда она, как это часто бывало с ней, с улыбкой на лице задумывалась, я сейчас же вспоминал полковника на площади, и мне становилось как-то неловко и неприятно, и я стал реже видаться с ней. И любовь так и сошла на-нет. — Так вот какие бывают дела и от чего переменяется и направляется вся жизнь человека. А вы говорите... — закончил он.

---

## Две истории улья с лубочной крышкой.

Первая история улья с лубочной крышкой была составлена трутнем-историографом Прупру. Другая же составлена одной из рабочих пчел.

История улья с лубочной крышкой, составленная трутнем, начинается перечислением материалов и источников. Материалы и источники следующие: «Записки знаменитых трутней. Переписка Его Высочества трутня Дебе старшего с его светлостью Куку младшим. Гоф-фурьерский журнал. Устные предания, песни и романсы трутней. Уголовные и гражданские дела между трутнями и пчелами. Описания путешествий жуков, мошек и трутней чужих ульев. Статистические сведения о количестве меда в различные периоды жизни улья».

История улья с лубочной крышкой историкографа Прупру начинается со времени первого роения и появления первых трутней. По описаниям трутня Прупру, время это, от 6-го июня до Петрова дня, было самым цветущим временем улья с лубочной крышкой. Сила и богатство улья обращали на себя в это время внимание всех других ульев, возбуждали зависть соседей и привлекали к себе знаменитых посетителей. И сам улей находился под особым покровительством самого деда Анисима. Ульи все работали в это время, работали и обитатели улья с лубочной крышкой; но главное отличие и преимущество улья с лубочной крышкой были в том, что он первый успел произвести на свет трутней, составивших его славу и внутренним управлением и внешними сношениями. Есть и было много ульев неисторических. Они живут, сами не зная о том,—живут и умирают в неизвестности; но не то было в улье с лубочной крышкой.

Во втором часу дня, в то время, как рабочая пчела, как вьючная лошадь, продолжала свою безостановочную, обычную, неизменную работу, таская мед и пергу для детей, в первый раз

вылетели трутни. Те, которые видели этот выход, единогласно утверждают, что мир никогда не видел зрелища великолепнее этого. Большие, черные, мохнатые, гладкие трутни, один великолепнее другого, появились из летка и вместо того, чтобы, как простые пчелы, тотчас лететь через забор в лес и луга за кормом, тотчас же тут же взвивались кверху, заворачивали кругом и, как орлы, носились над ульями. Зрелище было столь поразительно своей величественностью, что нельзя было без слез умиления созерцать его; но еще более оно было поразительно своим глубоким значением. Вылетев из улья, трутни затрубили каждый свое, излагая каждый свое воззрение на задачи государственного управления и на предстоящие в нем изменения и усовершенствования. Внимание собрания было обращено преимущественно на положение и деятельность рабочей пчелы, которая, по общему голосу, была признана неудовлетворительной и требующей исправления и наставления. Собрание разделило между собой различные области управления и тотчас же приступило к изложению мер, которые должны были содействовать более правильному труду

пчел. Тотчас же были избраны правители, их помощники, помощники помощников: цензор нравов, наблюдатели, блюстители нравственности, судьи, жрецы, поэты и рассудители, и всем было положено соответствующее содержание и награждение. Избраны были, по мнению избиравших и избранных, самые выдающиеся люди. Тут были все светила, вся стая славных орлов, наложивших неизгладимую печать величия на это время.

Долго трубя, кружились они все перед ульями, сталкивая летавших за кормом пчел и не понимавших всего значения того, что для них делалось. Очень часто неблагодарные пчелы совершенно не понимали всего того, что для них делалось, и выражали между собой даже недовольствие на деятельность трутней. Так, в одном дневнике пчелы за это время записано следующее:

«Расходились нынче наши господа, трубили и кружились без толку над ульями часа четыре и много мешали народу работать. Часа в четыре только убрались. Измучились все, ничего не делая, и тотчас же принялись жрать. Ну, да Бог с ними. Хватит и на них. Скучно только, что мешают работать».

На другой день трутни вступили в отправле-  
ние своих обязанностей. Снаружи казалось,  
что они делают все то же. Но это только каза-  
лось непонимающим. У них шла сложная и  
трудная работа. Вот выписка из дневника одного  
из главных деятелей:

«Я избран единогласно учредителем пра-  
вильного полета рабочих. Обязанность моя очень  
трудна и сложна; я понимаю всю ее важность  
и потому, не жалея своих сил, стараюсь наи-  
лучшим образом исполнить ее; но одному это  
слишком трудно, и потому я пригласил себе  
в помощники А.—тем более, что двоюродный  
брат моей тетки просил меня поместить его.  
Так же я поступил и относительно Б. и Д. и Г.  
Им тоже нужны будут помощники. Так что  
всех нас в нашем департаменте будет 36 или  
38 человек. Я заявил в совете о том, что нам  
для нашей деятельности необходимы два сота  
с медом. Постановление об этом прошло едино-  
гласно, и мы тотчас вступили в исправление  
своих должностей, ночь же провели в сотах и  
ели мед. Мед вкуса недурного, но можно на-  
деяться, что при правильной деятельности вкус  
его еще усовершенствуется, если мой проект

будет принят. На другой день я в общем собрании изложил свой проект. «Господа,—сказал я,—нам необходимо обдумать прежде всего те мероприятия, при которых нам возможно будет выработать те начала, на которых мы можем составить проект программы наших действий». Мнения разделились. Дебе старший, председательствующий в совете, предложил голосование. Но вопрос о голосовании оказался недостаточно уясненным, и решено было избрать комиссию, предложив ей разобратить вопрос о голосовании и представить к следующему заседанию»...

Так же усердно работали и другие деятели, и улей, благодаря их трудам, благоденствовал все более и более. Каждый день правители-трутни вылетали, кружились, обсуждая и решая важные государственные вопросы, и по ночам возвращались в улей, облепляя соты и подкрепляя свои силы заготовленным для них медом. Благоденствие как их, так и всего улья было полное. Произошла, правда, небольшая пертурбация, состоящая в том, что часть рабочей пчелы нашла нужным вдруг почему-то вылететь с маткой из улья и повиснуть на суку рябины.

И такое самовольное действие пчел могло бы нарушить влияние трутней, если бы они не догадались в то самое время, как совершался этот полет, предписать его, так чтобы пчелы не могли думать, что они сделали это по своей воле и без высшего указания правителей. Отроившиеся пчелы были признаны изгнанниками, оставшиеся же в улье пчелы продолжали по-прежнему повиноваться и заботиться о содержании своих правителей. Но к концу августа стали проявляться признаки возмущения. Однажды трутни после пролета явились в соты и к удивлению нашли соты занятыми рабочей пчелой, которая не пустила их. Они с негодованием удалились и полетели в другие ульи. Но в других ульях было то же. Их не пускали. Очевидно, погибало все. Трутни сделали последнюю попытку: влетели в свой улей, но пчелы не пустили их наверх, а сбили вниз, где было холодно и не было корма. И так было и на другой и на третий день. Трутни худели, высыхали и помирали один за другим. Ни один из них не унижился до работы для своего пропитания.

Пчелы что-то делали, гудели наверху на сотах, но, как говорят историки-трутни, очевидно, погибали в анархии, лишившись своих руководителей.

Неповиновение пчел трутням погубило их. Они погибли.

Этим кончалась история улья с лубочной крышкой, написанная трутнями.

История, написанная пчелой, не сходилась с этой историей. В истории, написанной пчелой, значилось, что жизнь улья началась с ранней весны, когда улей был выставлен на солнце, и пчела тотчас же, опорожнившись, полетела на цветущую вербу и жужжа осыпала ее, собирая с цветов пергу на лапки и мед в желудки. Жизнь пчелы, по описанию пчелиного историка, была непрерывающей радостью труда. Не переставая расцветали одни цветы за другими— и на яблонях, и на кустах, и на полях, и наслаждение труда соединялось с наслаждением цветущей природой. В улье быстро росли хорошо питаемые черви и рабочих пчел, и трутней, и матки, и наполнились ячейки душистым медом. Было так всего много, так богато, что нужно было найти новое место, и пчелы выпу-

стили на свет трутней, из которых им только один на время был нужен для оплодотворения новой матки, и выкормили на всякий случай трех маток, хотя им нужна была только одна. Наступило самое важное—необходимость разделиться от слишком большого размножения. Работа в это время шла усиленная. И в это-то время появились трутни и стали после полдня трубить, летать над ульями. Пчелы и не знали и не думали о том, какое значение приписывали себе трутни, но допускали их праздность и обжорство потому, что думали, во-первых, что один из них понадобится, во-вторых, потому, что всего было много и можно было не жалеть добра даже для праздных и ненужных трутней. Вот что в то самое время, когда трутни думали, что управляют пчелами, писала одна пчела в своих записках (4-я тетрадь, стр. 5).

«В конце мая совершилось великое событие: пчелы отпустили старую матку в новое царство, сами же остались с новой оплодотворенной царицей, которая тотчас же стала класть яйца. Зацвела липа, и надо было кормить детву и, пользуясь коротким цветением, запасать мед на зиму. Цвет был сильный, не омытый дождем,

и пчелы набрали много, но и на зиму нужно было много, трутни же, приписывая себе несвойственное им значение, думая, что они нужны, продолжали пожирать заготовляемое рабочими. Так шло некоторое время. Но требования внутренние стали более обильны, цвет кончился, остались одни репы, и, не сговариваясь, не решая ничего, пчелы единовременно все перестали пускать трутней к меду, стали сбивать их и даже подсекать дерзких и ненужных. Трутни все были уничтожены, но улей не только не погиб, но в самом цветущем состоянии приготовился к зиме. Наступила зима. Пчелы затихли, сели на места, поддерживая тепло в детях, и дождались опять весны и опять радости жизни».

---

4-85

085

# „НАРОДНАЯ БИБЛИОТЕКА“.

## ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ:

Л. Н. Толстой. 1-я, 2-я, 3-я и 4-я книги рассказов . . . . .	по 75 к.
А. И. Герцен. Книга рассказов . . . . .	75 »
И. С. Тургенев. Книга рассказов . . . . .	75 »
„ Певцы . . . . .	40 »
А. Н. Островский. Гроза . . . . .	75 »
„ Лес . . . . .	75 »
Д. В. Григорович. Антон Горемыка . . . . .	75 »
И. А. Крылов. Избранные басни . . . . .	75 »
А. П. Чехов. 1-я книга рассказов . . . . .	75 »
Ф. М. Достоевский. Сборник рассказов . . . . .	75 »
Н. А. Некрасов. 1-я книга стихов . . . . .	75 »
Ф. М. Решетников. Тетушка Опариха . . . . .	75 »
Г. Успенский. Про счастливых людей . . . . .	50 »
„ Парамон юродивый . . . . .	50 »
„ Будка . . . . .	50 »
„ Неизлечимый . . . . .	80 »

## Печатаются сборники рассказов и отдельные рассказы:

Л. Н. Толстого, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, А. П. Чехова, Г. И. Успенского, В. М. Гаршина, А. И. Левитова, Ник. Успенского и других.

Подготавливается к печати ряд других изданий.

В ближайшие дни выходят из печати серии книг по общественно-политическому, педагогическому, школьному, детскому и др. отделам.

## С запросами следует обращаться:

Москва, Тверская, 28. Книжный склад Литературно-Издательского Отдела Народного Комиссариата по Просвещению.

Петроград, у Чернышова моста. Народный Комиссариат по Просвещению, комната № 127.

**Каталоги бесплатно.**